
Павел Крусанов

Глухарь

Рассказ

«Небо — птицам, чай — официантам, проливы — России, — в каменном античном стиле думал Пётр Алексеевич, сворачивая на заливаемую светом фар грунтовку к Баруте. — На этом надо бы сойтись, а то больно разбрасываемся. Во всем следует знать меру, даже в великодушии». Вдохновляемый одиночеством, он часто грезил о *правильной* истории, которая должна блистать вопреки той, что по недоразумению предьявлена. В определенном смысле Пётр Алексеевич был эскапистом, хотя и не заплывал в мечтах настолько далеко, чтобы терять из вида берега. Так и сейчас — определив хозяина проливом, он вновь сосредоточился на падающей в ночь дороге.

Когда прошлым летом Пал Палыч показывал Петру Алексеевичу родник, из которого возит домой в двадцатилитровых бутылках под помпу животворную воду (водопроводную, богатую железом, то ли вымытым из старых труб, то ли растворенным в подземном горизонте, он не пил сам и заказал пить домашним, опасаясь за дорогие сердцу организмы), заодно заехали в два места, которые в поисках боровой дичи Пал Палыч разведал еще в марте. То были токовища — одно тетеревиное, на краю просеки, в непролазно заросшей молодой порослью поруби за проселком из Конькова в Теляково, другое в старом бору у мохового болота, по дороге на Баруту — там точили глухари. Заповедный родник бил в низине, недалеко от Болотова, поэтому в тот день изрядно напетляли, что у охотников не диво: бешеной собаке семь верст не крюк. Зато теперь Пётр Алексеевич мог сам, не отвлекая от домашних дел Пал Палыча, попытать счастье на току. Тетерева свои поляны, облюбленные для весенних песен и драк, не меняют по много лет. У глухарей — такое же обыкновение. Тем не менее, чтобы не вышло промашки, перед приездом Петра Алексеевича Пал Палыч заглядывал на вечерней зорьке в старый бор, осторожно подбирался к болоту и слушал — *поподсадам* насчитал петухов семь-восемь.

Сюда, на глухариный ток, в поздних вечерних сумерках Пётр Алексеевич и отправился. Выпавший вчера снег вчера же и растаял. Снова потеплело, и на расчистившемся небе повисла мастерски отрезанная половина сияющей луны. Так рекламные самураи своими вострыми сабельками рубят летящий в воздухе

Крусанов Павел Васильевич — прозаик. Родился в 1961 году в Ленинграде. В первой половине 80-х — активный участник музыкального андеграунда, член Ленинградского рок-клуба. Четырежды финалист премии «Национальный бестселлер», финалист премии «Большая книга» за роман «Мёртвый язык» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 1.

апельсин — только сочные капли звезд брызжут в стороны. Вечерний свет небес погас, лес заливало с черно-лилового купола серебристое сияние, басовито урчал сильный мотор, по пластику приборной панели бежала лунная рябь.

Вскоре за служащим приметой верстовым столбом (километровым, разумеется) Пётр Алексеевич свернул с грунтовки на едва угадывавшуюся в свете фар, местами раскисшую и чавкающую лесную дорогу. Эти места, именуемые Жарским лесом — ближайшая деревня называлась Жар, — были ему более или менее знакомы: обычно в августе он возил Полину и ее сестру Нику на здешнее болото за голубикой. Пока женский пол возился с ягодой, Пётр Алексеевич бродил с корзиной в лесу по соседству в поисках грибного народца: помимо годящихся лишь в засол горькушек, здесь обитали моховики, лисички и коричнево-шоколадные боровики — сердечные дары от леса-батюшки. Черничниками, брусничниками и земляничными полянами были богаты и окрестности Прусов, а вот хорошей гоноболи не было: кустик тут, кустик там — не ягодный ковер, а кошкины слезы. Зато в Жарском лесу на болоте голубику можно было брать двумя руками — крупную, крепкую, с восковым налётом, точно лесной рассыпной виноград — и на десятке квадратных метров *надрать* ведро.

Остановив машину возле дороги на небольшой крепкой проплешине, усеянной поверх коротковорсного мха сосновыми шишками и хвоей, Пётр Алексеевич погасил фары и заглушил двигатель. Вышел осмотреться: луна ушла за облако, слегка подсветив бледным сиянием его кудреватый бок, лес вокруг стоял темный, тихий и немного тревожный, как всякая ночная чаша, — кусты можжевельника обретали пугающие формы, изредка беспокойно вскрикивала незнакомая ночная птица, свежий воздух дразнил ноздри, неприветливо охлаждал лицо и руки. Вновь забравшись в еще не остывший салон со стороны пассажирского сиденья, Пётр Алексеевич откинул спинку и устроился подремать — часов до двух есть время, а там уж он успеет затемно, пока рассевишиеся с вечера по соснам глухари спят, выйти на ток.

Сон не шел. Сменяясь, крутились в голове видения.

Несколько дней назад, перед отъездом из Петербурга, он, щелкая пультом, наткнулся в телевизоре на передачу полемического свойства с заявкой на духовность: три раскованных поэта, надувший щеки, как влюбленная лягушка, прозаик, нервный седой драматург и осведомленный, но сдержанный ведущий пытались определить различие между московским и петербургским стилем, разбирая особенности двух версий письма. Сейчас этот пылкий и пыльный диспут не к месту всплыл в памяти, и Пётр Алексеевич улыбнулся — различие и сходство между Москвой и Петербургом еще полтора столетия назад прекрасно очертил Пётр Вяземский: в Москве умничает глупость, а в Петербурге ум вынужден дурачиться...

Потом Петру Алексеевичу, перевалившемуся на другой бок, вспомнилось, что Пал Палыч рассказывал про родник у Болотова — врал, как француз, путешествующий по России: мол, на ручей, берущий там начало, приходят раненые и больные звери, чтобы подлечиться — пьют, плещутся и делаютя, как говорил рассказчик, здоровы. Так про себя Пётр Алексеевич и называл этот ключ — животворный. А вот людей, со слов Пал Палыча, родник врачевал на выбор: кто рос не на природной здешней пище, а привык к магазинной (Пал Палыч говорил «товарной»), тем помощи не жди, хоть ты запейся, а тем, кто пуповину не порвал, кто по-старинке жил на исконном и натуральном — таким способствовал... Себе Пётр Алексеевич, пусть он и вырос на еде *товарной*, обычно тоже привозил с родника пару баклажек. Съездил на ключ и вчера — свежий, радостный вкус этой воды было не сравнить с известковой колодезной.

Следом припомнились недавние сборы перед отъездом на Псковщину — он укладывал в рюкзак одежду.

— Где моя черная футболка? — спросил Пётр Алексеевич домашних духов, вечно прячущих от него нужные в данный момент вещи. — С номером на груди.

— Я ее постирала, — ответили духи голосом Полины. — Еще не высохла.

— Зачем? — удивился Пётр Алексеевич.

— Отгадай.

— Не могу.

— Она была грязная, — дала правильный ответ Полина.

— Она не может быть грязной, — строго возразил Пётр Алексеевич. — Она черная.

Вслед за этим воспоминанием незаметно накатило забытьё.

Сон, неглубокий и рыхлый, то и дело рассыпался, будто выпавшая из рук охапка хвороста. В очередной раз вынырнув из дремы, Пётр Алексеевич зажег экран смартфона: без десяти два. Утроба автомобиля остыла — чтобы от дыхания не запотел салон, стёкла на задних дверях оставались чуть приспущенными — пластиковые поверхности и кожа сиденья были холодны. Зябко пожившись, Пётр Алексеевич встряхнулся и вышел из машины размять затекшее тело. Кстати пришлась и фляжка с коньяком — пара глотков окончательно его взбудрила и разогрела в жилах выстуженную кровь.

Переобувшись в сапоги, подпоясавшись патронташем и подвесив к нему за петлю нож, Пётр Алексеевич забросил на спину пустой рюкзак с булькающей фляжкой, накинул на плечо ремень ружья и, подсвечивая путь фонариком, поставленным на самый бледный режим, отправился в апрельскую ночь. Сначала бойко шагал по лесной дороге, потом забрал влево, к болоту. Тут уже спешить никак нельзя и надо не зевать — валежник и кочки во мраке на каждом шагу грозили падением...

Бить глухаря с подхода под песню — охота редкого азарта. Любовный распев мошника двухчастный: сначала костяные щелчки клювом, будто удары бильярдных шаров, только звонче, дак-дак-дак-дак — все быстрее и чаще, — потом двойная отбивка дак-дак и вслед за тем скрипучий скрежет с подвизгом, словно скоблят точилом железо, скиржжа-скиржжа... В тихую погоду эти щелчки и скрежет разносятся не слишком далеко, всего метров на двести-триста. А при ветре... при крепком ветре мошник не поет. Здесь, на втором колене, на точении, самозабвенно голосящий глухарь ничего не слышит, иной раз даже выстрел. На том и держится охота.

К месту тока надо выйти затемно и, схоронившись, ждать. Часа в три ночи слетевшиеся по вечерним сумеркам глухарки просыпаются, начинают шорохаться в сосновых кронах и — поначалу несмело — заводят песню. Их голос — едва ли не первый в лесу. Взрослые петухи садятся на деревья в центре токовища, а по окраине — молодые *хрипуны* прошлогоднего выводка. Эти полной песни не знают, только щёлкают и подхрипывают. Если уже хоркает вальдшнеп, а глухарей еще не слышно, стало быть, что-то их встревожило — охотник подшумел, выдал себя опасный зверь или еще что — тут надо не спешить, не объявляться, дотерпеть: бывает, мошники успокоятся и распоются.

Как небо к рассвету побледнеет, на ток подлетают глухарки, устраиваются на соснах поближе к приглянувшимся женихам и начинают квохтать. Петух, вняв зову подруги, распаляется, запекает звонче, после чего оба один за другим слетают за пределы токовища и *кроются*. Случается, если глухарей на току больше, чем копалух, мошник спархивает на землю, распускает крылья, как буян — кулаки, и затевает с соперниками яростную драку. С восходом солнца представление заканчивается: глухарки отлетают кормиться, а копалухи — нестись. Занавес.

Года четыре назад Пётр Алексеевич прошел эту науку по всем правилам — от аза до ижицы. Дело было под Лугой, на Мерёвском озере, куда пригласил его поохотиться на глухаря падкий до боровой дичи бывший одноклассник Коля Шепталов, поизлазавший вдоль и поперёк местные уголья. Ток был далеко, за озером, выехали часа за полтора до заката, чтобы добраться на *подслух* к сумеркам и заприметить деревья, на которые садятся глухари, — шум спускающегося в крону лесного верзилы уловить несложно, — тогда утром до света точно будешь знать, где искать птицу. Машину оставили километрах в полутора, дальше по вечернему лесу шли пешком. Не торопились: когда идешь по лесу медленно, тебя не слышит никто, а ты слышишь всё. По пути Шепталов подобрал с земли несколько веточек и посоветовал сделать то же Петру Алексеевичу — на подслухе этими веточками надо отметить направление, где засёк подсад глухаря, чтобы утром не путаться, а идти прямо к засевшей в кроне птице.

Так и сделали — выбрали место для подслуха, не в середине токовища, а у кромки, чтобы в ночи легче было уйти незамеченным, затаились и в сумраке стали ждать подсада, положенными на землю веточками указывая, где, шумя крылом, обустривался на сосне глухарь. Потом, дождавшись полной темноты, когда лес затихает и петухи, перестав возиться, замирают в кронах, тихо снялись и пошли назад к машине. Если не выждать и выйти из укрытия раньше, глухари заподозрят неладное, забеспокоятся и могут утром голос не дать — осторожная птица. Однако под руководством Шепталова всё сделали правильно. А утром, отсидевшись в машине, затемно вышли по меткам — каждый поближе к своему глухарю, — замерли и насторожили уши, карауля минуту, когда невидимые во тьме петухи проснутся, закопошатся и запоют. Тогда Пётр Алексеевич добыл своего первого мошника. А через пару дней на подслухе у другого токовища случилась с ним такая штука: глухарь сел прямоком на ту сосну, под которой затаился Пётр Алексеевич, — сел, зашорохался и забрызгал ему всю куртку и шапку пометом. Пётр Алексеевич не вынес оскорбления и ударил дублетом. Сбил наглеца, но Шепталова расстроил: утром тут уже делать нечего — песен не будет.

После той охоты на Мерёвском озере Пётр Алексеевич считал себя знатным глухарятником и теперь шел на ток без вечернего подслуха, полагая, что если подаст петух голос, то, как бы тот далеко не сидел, он сумеет подкрасться к нему на выстрел.

Через полчаса по старому, все еще погруженному во мрак лесу Пётр Алексеевич, погасив фонарик, вышел на пологий холм у болота — тут и точили глухари. Луна, выскользнув из облака, плеснула светом, окатив высокие сосны и чернеющие причудливыми очертаниями можжевельные кусты. Сбросив на кочку рюкзак, Пётр Алексеевич сел на него, положил на колени ружье и прислушался к шорохам, скрипам и вздохам сонного бора. Сидел долго — где-то далеко ухнул филин, пробормотал в стороне косач, поскрипывали упавшие друг другу в объятия сосновые стволы. Потом вверху — в одном, в другом месте — почудился невнятный шорох, как будто в темных кронах кто-то ворошится, и тут впереди и справа раздалось первое, еще как будто робкое, на пробу голоса, дак-дак-дак... Пётр Алексеевич настороженно замер, едва только не припал к земле, точно заслышавший мышиную возню кот. А глухарь застучал костяными счетами уже увереннее, быстро разгоняясь и переходя на учащенное даке-даке-даке, а после — сразу наждаком по металлу скиржжа-скиржжа-скиржжа...

Первую песню Пётр Алексеевич пропустил — бывает, пропев разок, мошник замолкает или просто изредка пощелкивает клювом, прислушиваясь к лесу, и тут,

случись, что оборвавшийся распев застал тебя в движении, надо замереть: хоть ты уже занес для шага ногу — зависни и ни звука. Это может продолжаться долго, иной раз минут пять-семь. Если не выдержать и выдать себя — прощай охота. Но глухарь застучал снова, и как только приступил к точению, Пётр Алексеевич легко поднялся, закинул на плечо рюкзак и сделал пару быстрых шагов по направлению к певцу — второе колено арии длится секунды две не больше. Песня вела четко, не гуляла из стороны в сторону, как бывает, когда мошник сидит к тебе задом и его распушенный веером хвост отражает звуки, делая цель неопределенной и словно бы блуждающей. При следующем запеве Пётр Алексеевич снова рванулся на голос. Замер на третьем шаге, прильнув грудью к шершавому стволу сосны. Потом, на новой песне — еще два шага... И так до тех пор, пока не понял, что глухарь поет уже совсем рядом, почти над головой, быть может, на соседнем дереве. Сердце стучало часто, но ровно, кровь в задорном нетерпении толчками бежала по жилам. Под очередную песню Пётр Алексеевич, задрал голову, осмотрелся — определенно что-то чернело в кроне соседней сосны. Неподвижно простояв возле заветного дерева некоторое время, он дал небу немного посветлеть, после чего под новый шипящий скрежет обошел вокруг лесины. Теперь он яснее увидел глухаря. Тот топтался в высокой кроне на ветке, перемещаясь то вправо, то влево, широко распуская хвост и свесив по бокам крылья, — вытягивая шею и устремив клюв к бледнеющим небесам, этот здоровяк, не в состоянии сдерживать избыток пробудившихся сил, изливал свой любовный призыв на сумрачный весенний лес. Впрочем, отсюда, с земли, мошник обманчиво казался меньше — не исполин, а так себе пичуга, не больше вороны...

Дождавшись нового точения, Пётр Алексеевич поднял ружье, затаил дыхание, прицелился и ударил из нижнего ствола. Если стрелять под песню, в случае промаха есть надежда, что глухарь не слетит, и тогда можно сбить его со второй попытки. Однако этого не потребовалось. Ружейный гром гулко прокатился по сонному лесу, и с сосны, сопровождаемый треском обломанных веток, черным комом шлепнулся в мох лесной красавец. «Небо — птицам...» — со странным замиранием в груди вспомнил Пётр Алексеевич свои вечерние фантазии.

Жизнь — игра. Игроков — без малого восемь миллиардов. Какие у тебя шансы? Пётр Алексеевич вполне отдавал себе отчет относительно этих призрачных шансов и тем не менее, возвращаясь с охоты, часто чувствовал себя победителем. Почему? Этот вопрос он задавал себе в скептическую минуту и сам на него отвечал: «Потому что так устроен мир, и так устроен человек: он должен верить в свою удачу и свою избранность. Ему нужна эта сказка — таково условие его примирения с бездонным ужасом бытия. Рыбка посуху не ходит — без воды не может жить...»

Вернувшись в приподнятом настроении, едва не триумфатором, в Прусы, Пётр Алексеевич не стал ошипывать глухаря. Во-первых, он хотел похвастать трофеем — мошник был велик и краснобров — перед Пал Палычем, а во-вторых, он сам еще не решил: закатить ли в Петербурге пирушку с дичью или отдать птицу чучельнику, благо среди знакомых у него был такой — работал в Университете Герцена при музее на кафедре зоологии. Кафедру возглавлял давний друг Петра Алексеевича — профессор Цукатов. Он говорил, что чучельник угрюм и своенравен, — ну так что ж? Если угрюмый умелец не возьмется сам, то всяко посоветует подходящего мастера.

Еще раз полюбовавшись добычей, лежащей в багажнике на расстеленном полиэтилене, Пётр Алексеевич увидел на груди глухаря кровь и решил отмыть перья, чтобы птица в момент предъявления Пал Палычу предстала во всей красе. Налив в

ковш воды из баклажки, он положил уже остывшего и сделавшегося твердым мошника на уличную скамью и принялся обмывать ему антрацитовую, с изумрудным отливом, грудь. Однако перья, намокнув, слиплись, как-то жалко подвернулись и сразу потеряли нарядный вид. Пока лесной здоровяк окончательно не превратился в мокрую курицу, Пётр Алексеевич оставил глухаря в покое, бросив костенеющую тушку обратно в багажник.

Проспав до десяти, он протопил печь, заварил чай, позавтракал крутым яйцом и бутербродом с грудинкой, после чего, несмотря на легкую хмурию в голове, которая всегда случалась с ним, если сбивался сон (а нынче он был сбит по всем статьям), отправился в Новоржев.

Пал Палыч возился возле видавшего виды трактора «Беларусь», доставшегося ему в былинные времена в обмен на стройматериалы от совхоза (перед возведением собственного дома разобрал барак — половину от разобранного и отдал за списанный трактор) и с тех пор стоявшего возле крольчатника на хозяйственном дворе. Раньше Пал Палыч часто пользовался им в домашних нуждах: привезти кирпич, шифер, дрова, сено скотине, еще какое дело, — однако последние годы «Беларусь» ржавела без движения, а хозяин обходился автомобильным прицепом.

— Вот, — объяснил Пал Палыч, — хочу запустить железяку. Сети снимать надо. Думаю, на Сялецкое в объезд поста — через Волчицкое, Приветок и Подлужье — выйти. Там теперь только на тракторе можно. Иначе никак. — Он вытер замасленную пятерню о штанину и протянул ее Петру Алексеевичу. — Рыбы будет на копейку, а соляры сожрет... Идите в дом, я сейчас...

На кухне, производя какие-то манипуляции с зеленеющей на подоконниках в горшочках из-под йогурта рассадой, хлопотала хозяйка. Над ее головой, под потолком, из года в год все разрастаясь и разрастаясь, полз по натянутым струнам разморенный негой печного тепла тропический плющ.

— Здрасьте, Пётр Ляксеич, — радушно улыбнулась Нина. — А мой на дворе колуается. С ржавым своим корытом. Великий зверь на малые дела. С утра самого, только из мерлога вылез, все сидел, как облуневши, как пыльным мяшком ударевши: по хозяйству — ни палец о палец, все думу думал. Тяперь ему вожжа под хвост...

Пётр Алексеевич поздоровался с Ниной, сообщил, что видел Пал Палыча и тот отправил его в дом, после чего обходительно поинтересовался самочувствием хозяйки и текущим положением ее дел.

— А какие дела? — бойко откликнулась та и тут же радостно поделилась событием: — Айфончик мой опознает владельца по отпечатку пальца, а я вчера весь день копалась во дворе с цвятами — ня заметила, как разрядился. Вечером поставила на зарядку, подношу палец, чтобы ожил, а он, хоть руки и мытые, после зямли-то отпечаток ня узнаёт, бранится — мол, что за девка-чарнавка меня лапает... Хорошо, к паролю был еще приучен, ня то совсем бы запанел.

— А что такое мерлог? — спросил Пётр Алексеевич.

— Это берлога по-нашему, — пояснила Нина. — Лежанка у него за печкой такая узкая — я ее мерлогом зову. Лежит там на кирпичях, как мумия. Пледом спеленает себя сверху-снизу, только нос торчит — мумия.

В дом шумно зашел Пал Палыч и, сбросив в прихожей на половичке сапоги, отправился мыть руки.

— Что вас спросить хотел... — сказал Пётр Алексеевич, когда Пал Палыч появился в кухне. — Возле кормушек и овсов, где кабанов бьют с вышек, часто вижу обрубленные рыла. Иные с клыками. Зачем так?

— А скажу. — Пал Палыч деловито осмотрелся и включил электрический чайник. — Когда кабана стреляют, голову берут на холодец. А пятак выбрасывают. Потому что в холодец он ня идет. Им ня надо этот пятак — вся челюсть эта ня нужна. Будешь варить — зачем она? Голова на холодец, и шею прихватывают — это да, это идеально. Светлый холодец выходит, ня жирный... Вкуснятина. — Пал Палыч поставил на стол чашки и жестом предложил Петру Алексеевичу садиться. — Вот погодите — угошу. У меня в морозильной, — он кивнул на отдельную морозильную камеру, стоящую рядом с холодильником, — лежит голова прошлогодешника. Лучше, чем с кабана головы и с сома головы, нет холодца.

— Кухарь, — добродушно съязвила Нина.

— Ухарь, — в тон и в рифму откликнулся Пал Палыч.

— Скажите пожалуйста! — энергично пыхнула хозяйка. — Первый парень на деревне, а в деревне три двора! — и, бережно держа в руках два горшочка с рассадой, выскользнула за дверь.

— Что, из рыбы тоже холодец варите? — поинтересовался Пётр Алексеевич.

— Из сома. Из головы его.

— Это как заливное, что ли?

— Да, желе и из головы рыбе мясо. Есть в голове кусочки... — Пал Палыч ополоснул заварной чайник и насыпал из пачки черный лист. — Нам в том году дали от сома голову. Тридцать пять килограмм был сом. На живца поймали, вытащили и забили. Под Бежаницами в заповеднике есть глухие озера и там — сомы. Огромные бывают... — Пал Палыч вздохнул. — Что говорить, хорошо живем. У нас только денег ня хватает, а так-то мы как у Христа за пазухой: рыба есть, мясо есть. Мы ж в природе, Пётр Ляксеич... А тут надо аккуратно — лишний раз словца плохого ня загни. Ня то в уши Богу надуешь, а Тот и обидится, осерчает: «Ты — свинья, — скажет. — Тебе все дадено, а что денег нет, так зачем тебе деньги — деньги от сатаны». Так бы вот надо. А то все сейчас угнетенные, нет улыбок — всем недовольны. А мне приятно, когда улыбаются... — Хозяин замолчал, снял с подставки закипевший чайник и налил кипятка в заварник. — Я деньги ня прижимаю. Или чтоб на сторону куда... Всё здесь. Нина знает, где деньги лежат. Те, которые я отдельно заработал. Пенсию мою она получает, я к этому даже ня лезу, а что я работаю на стороне, то я кладу вот сюда, — Пал Палыч мягко хлопнул ладонью по столу, — и она это все знает. И заначки нет. Мои деньги — вот. Если мне надо что, запчасти там, бензин, я бяру. А заначка зачем? По сёстры ходить — так у меня нету. Для чего заначка?

«По сёстры, — освежил Пётр Алексеевич в памяти словарь местных фразеологизмов, — это значит к любовнице». После чего подумал, что деньги — извечная русская нехватка. Не прирастает в русской земле капитал, не лезет из квашни тестом — как в кошель ни сунешься: купишь уехал в Париж, а тут остался шиш. Так испокон века русский «купишь» и бегаёт на сторону, «по сёстры»: раньше — в Париж, теперь — в Лондон и офшоры. Не в свои села и малые города и даже не в свои столицы — на Каймановы острова, на Кипр, в Панаму, к черту на кулички. А здесь... Здесь светло и просторно, пусто и скудно — зияет земля, не обрастает достатком. Только заведется капитал — вымывает его отсюда, как навоз из Авгиевых конюшен.

— А есть у вас, Пал Палыч, в морозильной камере свободное местечко? — сменил тему Пётр Алексеевич.

— Найдется. — Пал Палыч сверкнул любопытным глазом. — А вам зачем?

— Да у меня в холодильнике морозилочка такая, что едва пару уток впихнешь. А тут глухарь...

Пал Палыч недоверчиво моргнул.

— Вы что же, глухаря взяли? Сами? Ай, молодец! Дело! Люблю!

— Хочу чучело заказать. Надо бы до отъезда в холодок...

— Разместим, Пётр Ляксеич, нет вопросов. Одного взяли?

— Я с вас пример беру: охотиться без перестрела, без вреда природе.

— Да какой от вас вред... — Пал Палыч махнул рукой. — На охоте последнее дело добычу в лесу оставить по недострелу. Это — да. Подранка упустить, ня добить или еще что... Утка раненая в траву ушла, гусь упал в болоту и затаился... Глухарь другой раз бывает, если его пярэд слётом бьешь или вовсе влёт, на крыле планирует и далеко уходит. А как упадет, сунется в кочку или под куст — только хвост наружу. Тут надо по выбитому пярю смотреть, куда его понесло... На зямле пярэ-то. Ищи — сбил, надо трофей найти.

— Мой — камнем под ноги, — лаконично похвастал Пётр Алексеевич.

— Другое дело, если дал промах и мошник слятел, — продолжил Пал Палыч, словно бы не слыша гостя. — Тут, как говорится, начинай сначала. Тихонько посиди, сердчишко успокой, послушай песню и ступай к другому. Со вторым бывает, что уж светает — тогда подход осторожный, укрываться надо за деревьями. И то близко подойти ня получится — копалухи тебя видят и давай квохтать...

Налив в чашки чай, Пал Палыч выставил из шкафчика на середину стола плошку с медом и корзинку с печеньем.

— Если еще что надо — скажите. — Пал Палыч нарезал свежий батон. — А то есть, кому без колбасы и чай — ня чай. Как внуки мои. — И быстро добавил: — Я ня в осуждение, сам такой — что ни дай, все срублю.

Пётр Алексеевич покрутил головой, дескать, довольно, однако на стол уже выставлялось масло, сало, домашний рулет из брюшины...

Допили чай, договорили речи. Заглянув в морозильную камеру (ревизия пространства), Пал Палыч взял большой полиэтиленовый мешок и с Петром Алексеевичем отправился за глухарем.

На высоком крыльце вились, подобострастно обгирая пушистыми боками хозяину и гостю штаны, четыре разномастные кошки.

— Развела зверинец... — привычно посетовал Пал Палыч и наподдал ногой особенно усердной — остальные тут же прыснули врассыпную.

В полуденной апрельской бирюзе висело слепящее солнце. Не верилось, что вчера еще небеса метали на землю снег. При такой погоде — день-другой и сядут на гнезда аисты.

Подошли к машине. Едва Пётр Алексеевич успел открыть багажник, как оттуда вихрем вырвался и больно ударил его в лоб черный ужас. Зажмурившись, Пётр Алексеевич услышал тяжелое хлопанье крыльев, а когда, потирая чело, открыл глаза, то увидел Пал Палыча, который, слегка присев, смотрел вслед грузно летящей над самой землей птице. Еще мгновение, и она скрылась за соседскими сараями.

Пал Палыч обернулся и посмотрел на гостя озадаченно.

— Так вы ж его ня дострелили!

Какое! Черта с два! Пётр Алексеевич знал, как выглядит смерть. Он держал теплого глухаря в руках в предрассветном лесу. Он отмывал ему, уже остывшему и начинающему коченеть, перо от крови. Петух был мертв. Бесповоротно. Окончательно. Так мертв, как зима, как чугунок, как камень.